



В. В. РОЗАНОВ

Чаадаев и кн. Одоевский

«Губы! Губы! Пока не *удались* губы, я считаю портрет *не начатым*», — так однажды сказал Репин в разговоре со мною...

И вот я смотрю на «губы» Чаадаева и кн. Одоевского в двух великолепных изданиях московского «Пути» (книгоиздательство М. К. Морозовой): В *первом полном* издании «Сочинений и писем П. Я. Чаадаева» под редакцией М. Гершензона и «Князь В. Ф. Одоевский. Русские ночи» в редакции С. А. Цветкова.

«Наконец Россия достигла состояния говорить с европейцами европейским языком: и этот первый говорящий — я», — говорят губы Чаадаева, этот маленький, сухой, сжатый рот, который даже на улыбку матери, наверное, не ответил бы чем-нибудь соответствующим. Впрочем, как-то и невозможно представить себе «мать Чаадаева», «отца Чаадаева» и его «танцующих сестриц»: он вообще — *без родства*, solo, один, только с «знакомыми», в петербургском и европейском свете, и «друзьями», беседующими с ним в кабинете, но причем не он их слушает, а они его слушают. И говорит он по-французски, как по-французски он написал свой труд главный — знаменитые «Философические письма», напечатанные Надеждиным в «Телескопе»: как бы русская речь была ему не совсем послушна и, может быть, несколько брезглива...

Лоб умеренный — и вся масса головы как бы сплывает в лицо, в массив щек и подбородка, которые будто говорят: «Вот — я *первый* у русских получил *лицо*: доселе были морды, по которым били (разумелось — «правительство»). Но я получил *лицо*, которое никто не посмеет ударить. И оно говорит только *напе*, и говорит оно только о предметах всемирной значительности, которые едва ли могут быть поняты по сю сторону Вержбелова. Почему я и разговариваю по-французски». «Оттого рот у меня

и маленький; я скажу немного слов, только папе и о всемирной истории: но ни одно слово о *пустяках*, к числу которых я причисляю, извините, и Россию, не вырвется из этого рта...»

Он говорил, собственно, папе; но <так как папе в то время было «некогда», то он и обратился с «Философическим письмом» к избранной петербургской даме, начав его: «Adveniat Regnum Tuum. Madame, c'est votre candeur, c'est votre franchise, que j'aime, que j'estime le plus en vois». Т. е. по-русски, по-бедному: «Да приидет Царствие Твое. Мадам, чистосердечие и прямотушие ваше — вот то, что я более всего в вас люблю и почитаю». И т. д.

В «Письмах» он развивал ту мысль, что стержнем всемирной истории служит религия; что в христианстве — этим стержнем служит Церковь; что «все из рук Христа и апостолов» получили папы, отчего двинутая, собственно, папами Европа и достигла на всех поприщах великих успехов, великой гражданственности, великого искусства, великих наук и философии. Тогда как Россия и Восток... остаются *деревней*, не слушая католической мессы и не слушая красноречивых итальянских и французских проповедников, таких же бритых, как сам Чаадаев, и тоже с мясистым, грузным подбородком, говорящим о силе, уверенности и напоре воли...

По северным и петербургским обстоятельствам «Письма», как известно, попали не к папе и даже не к «мадам», а в скверную нашу цензуру, к сухому и почтительному «к начальству» Бенкендорфу... «Пошла писать губерния», Надеждин был сослан в Вологду, а к Чаадаеву должен был ежедневно ездить врач — свидетельствовать его умственные способности и, может быть, прописывать ему что-нибудь «успокоительное». Русские и тогда отличались великой сострадательностью: сострадавая страждущему Чаадаеву, они в вознаграждение нарекли его гением, «угнетенным гением», и имя его и достоинство его пронесли до наших дней, до Гершензона, который издает его труды, письма и записочки очень кстати, потому что «Философических писем» его, по правде сказать, никто не читает и не читал; а так, вообще, знают, что «гений» и «претерпел».

На его мраморное, холодное, католическое письмо, даже на его плечо, не сядет ни мотылек, ни муха, ни комар; не взползет во время сна козявка или червячок. И вообще ничто живое к нему не прикоснется. И не посмеет, и «не захочется»...

«Я говорю, мадам...» И мадам слушает.



Ему совершенно противоположно лицо Одоевского. Как он не сделался давно «беззаветным любимцем» русского читателя, русской девушки, русского студента, русского учителя *где-нибудь* в провинции — вполне удивительно; он — предшественник всех «разговаривающих лиц» у Тургенева, его Лежнева и других, — предшественник философических диалогов у Достоевского и, до известной степени, родоначальник вообще «интеллигентности» на Руси и интеллигентов, — но в благородном смысле, до «употребления их Боборыкиным»¹. Массивный лоб его неизмерим с чаадаевским, в сущности, очень бедным лбом; мудрые глаза; и этот большой, русский, «распустившийся» рот, какого вы не найдете ни одного во всем католичестве. В лице Одоевского масса *природы*, и точно оно все заткано паутиной лесов, солнца, лесных речек, ну и, конечно, «дриада лесных»... Он знал явные и тайные «историйки сердца», а в поместье его, верно, многие крестьянские девушки «помнили доброго барина»... Но он ушел от них в Петербург, где стал заниматься «химией», в то время только что вышедшей из алхимии; стал читать «Адама Смита», которого почитывал и современник его, Евгений Онегин... И у Грибоедова, и у Пушкина рассыпано много строчек, которые без риска мы можем принять за относящиеся *лично к князю Одоевскому*:

Там упражняются в расколах
и безверьи
Профессора! У них учился наш родня —
И вышел — хоть сейчас в аптеку,
в подмастерья!
Он женщин бегаёт, и даже от меня!
Чинов не хочет знать! Он химик,
он ботаник —
— Князь Федор, мой племянник².

Посмотрите, между тем: его рассуждения понятны, интересны и новы через 80 лет!

«Скажите, почему ты и мы — все любим *полунощничать*? Отчего ночью внимание постояннее, мысли живее, душа разговорчивее?»

Разительно — и для нас! Это, конечно, *так*, и современность ровно ничего не знает о том, почему это «так».

Один из собеседников «Ночей» пытается объяснить это тем, что «*ночью* общая тишина располагает человека к размышлению». Спросивший возражает:

«Общая тишина? У нас? Да настоящее движение в городе начинается лишь в десять часов вечера. И какое тут размышление? Просто людей что-то тянет быть вместе: оттого все собрания, беседы, балы бывают ночью; как бы невольно человек отлагает до ночи свое соединение с другими; отчего так?»

Мы не будем следить дальнейших рассуждений: пусть читатель сам перечтет их в «Ночах» Одоевского (с. 181 и следующие). Но этот пример и отрывок хорошо характеризуют его философскую натуру и сущность его «Ночей». В то время как весь Чаадаев есть продукт прочитанных им книг и «не литературного» в нем вообще ничего нет, князь Одоевский везде «поднимает с земли» какой-нибудь остановивший на себе его внимание факт, листок, песчинку, воспоминание о музыкальном вечере, о великом и несчастном музыканте, — или вот, например, о «ночи» и «что она такое», или, напр<имер ... о картах!!! И умом глубоким и пронизательным обдумывает это «поднятое с земли» явление... Таковы все его «Ночи»... Рассуждение, напр<имер , о *картах*, до такой степени *тоном* своим напоминает некоторые страницы «Дневника писателя» Достоевского, что нельзя не поразиться.

«Ночью, — объясняет Одоевский, — люди собираются, чтобы защититься от мелких и злобных духов тьмы, враждебных человеку, враждебных его здравому смыслу, враждебных его добродетели, и даже обыкновенной порядочности». Ибо... растения, выделяющие днем целебный кислород, напротив, ночью выделяют удушливую углекислоту; к ночи больной чувствует себя хуже; ночью же совершается большинство преступлений. И лишь с восходом солнца «духи тьмы» рассеиваются, и не только больные, но и здоровые засыпают «здоровым утренним сном»... Действительно, ряд однородных и пробуждающих любопытство наблюдений. Наконец, «ночью люди засаживаются в карты». И вот, посмотрите, как это аналогично и шальная, и серьезной речи Достоевского «О чрезвычайной хитрости чертей, если только это черти»³, в главе, посвященной спиритизму и «проверочным опытам над ним» Д. И. Менделеева:

«У враждебной человеку силы, которая действует ночью, есть две глубокие и хитрые мысли. Во-первых, она старается всеми силами уверить человека, что она не существует и потому внушает человеку все возможные средства забыть о ней; а вторая — сравнять людей между собою как можно ближе, так сплотить их, чтобы не могла выставиться ни одна голова, ни одно сердце. Карты есть одно из тех средств, которые враждебная сила употребляет для достижения этой двойной цели; ибо, во-

первых, за картами нельзя ни о чем другом думать, кроме карт, и, во-вторых, главное, за картами все равны: и начальник, и подчиненный, и красавец, и урод, и ученый, и невежа, и гений, и нуль, и умный человек, и глупец; нет никакого различия: последний глупец может обыграть первого философа в мире и маленький чиновник — большого вельможу. Представьте себе наслаждение какого-нибудь нуля, когда он может обыграть Ньютона или сказать Лейбницу: «Да вы, сударь, не умеете играть; вы, г. Лейбниц, не умеете карт в руки взять». Это якобы-низм в полной красоте своей. А между тем, и то выгодно для враждебной силы, что за картами под видом невинного препровождения времени поддерживаются потихоньку почти все порочные чувства человека: зависть, злоба, корыстолюбие, мщенье, коварство, обман, — все в маленьком виде; но не менее того, все-таки душа знакомится с ними, а это для враждебной силы очень, очень выгодно...»

Браво, браво, Одоевский! Никогда не думали мы, что содержится столько философии в нашем преферансе. Теперь барыни, садясь «по маленькой», будут поджимать ноги под столом и ту же обтягиваться юбками, пугаясь вершковых «чертей», копошащихся около них со всякими кознями, приказами и щекотаньями...

Но ведь это в самом деле любопытно: *ночь* и ее времяпровождение! Тогда люди молятся (всенощная, утренняя), тогда люди сочиняют стихи; шепчут любовь друг другу возлюбленные. И ей-ей кое-что очень хорошее творится и ночью. Именно *ночью* цветы начинают особенно благоухать; а некоторые, как табак, раскрывают цветки свои. Нет, в объяснениях «ночи» я не согласен с Одоевским: но не великолепно ли, что в 20-х и 30-х годах прошлого века князь задумался о том, чего люди и до сих пор не понимают, не постигли, а между тем, это очевидно есть великолепная тема философии!!

Не забудем, что кн. Одоевский задумывал свои «Русские ночи», когда Карамзин оканчивал «Историю государства Российского»⁴. Какая разница в строе мышления, как (через Одоевского) понятен *Пушкин* с его универсализмом *сейчас после Карамзина!!!* Посмотрите, как ново было для тех времен и свежо даже для нас рассуждение Одоевского о том, что теперь зовется «экономическим материализмом», «классовой борьбой» и т. д. Зрение Одоевского простиралось *на целый век вперед!* Тогда только что прощумел Адам Смит с его «Народным богатством» и выступали Рикардо и Бентам. Посмотрите же, что пишет или, вернее, как предсказывает кн. Одоевский в «Пятой

ночи», имеющей характерный подзаголовок — «Город без имени» (т. е. *всякий* город, *вся* цивилизация).

Иеремия Бентам, английский мыслитель*, отверг бытие нравственности как *самостоятельного* начала человеческой души и жизни, сказав, что вся нравственность есть «хорошо растолкованная *польза*». И вот кн. Одоевский начертывает судьбу колонии «бентамитов», которые устроили свою жизнь по этому новому началу. Конечно, они преуспевают материально, торгово, всячески. Разорили договорами и войнами своих соседей, скупили у них земли, подорвали у них промыслы и торговлю и все положили в свой карман, «хорошо растолкованный»... Но вот что вышло в результате хорошо рассчитанных усилий и кипучей деятельности.

«При так называемом благородном соревновании (принцип Ад. Смита) стало между отдельными городами происходить то, что между враждебными частями государства: для одного города нужен тут канал, а для другого — железная дорога; для одного — в одном направлении, для другого — в другом. Между тем, банкирские операции продолжались, но, сжатые в тесном пространстве, они необходимо, по *естественному ходу вещей* (иронически подчеркнут Одоевским главный принцип «народного богатства» Смита), должны были уже обратиться не на соседей, а на самих бентамитов; и торговцы, следуя высокому началу своего общего учителя — *пользе*, — принялись спокойно наживаться банкротствами, благоразумно задерживать предметы, *на которые было требование* («спрос и предложение» А. Смита), чтоб потом продавать их дорогой ценой; с основательностью заниматься биржевой игрою; под видом неограниченной, так называемой священной свободы торговли (принцип А. Смита), учреждать монополию (*теперешние* наши синдикаты). Одни — разбогатели, другие — разорились».

Но не только «отоцал», по крайней мере с одной стороны, «золотой телец»; выпад нравственной стороны жизни из состава человеческих побуждений имел еще более печальные внутренние последствия. «Общим чувством сделалось общее уныние. Никто не хотел ничего предпринимать для будущего, т. е. предпринимать мечтательно. Все чувства, все мысли, все побуждения человека ограничились настоящей минутой. Отец семейства возвращался домой скучный, печальный. Его не те-

* Перевод капитального труда его — «Введения в основания нравственности и законодательства» был сделан Ю. Жуковским в *семидесятих годах XIX* столетия.

шила ни ласка жены, ни умственное развитие детей. Воспитание казалось излишним. Одно считалось нужным — правдою или неправдою *добыть* себе несколько вещественных выгод... Юный бентамит с ранних лет из древних преданий, из рассказов матери научался одной науке: избегать законов божеских и человеческих и смотреть на них лишь как на одно из средств извлекать себе какую-нибудь выгоду. Нечему было оживить борьбу человека; нечему было утешить его в скорби. Божественный, одушевляющий язык поэзии был недоступен бентамиту. Мать не умела завести песни над колыбелью младенца. Естественная, поэтическая стихия издавна была умерщвлена корыстными расчетами пользы. Смерть этой стихии заразила все другие стихии человеческой природы; все отвлеченные, общие мысли, связывающие людей между собою, показались бредом; книги, знания, законы нравственности — бесполезной роскошью. От прежних славных времен осталось одно только слово — *польза*; но и то получило смысл неопределенный: его всякий толковал по-своему».

Бентам был переведен на русский язык только через 50—40 лет после того, как в начинающейся русской философской литературе было дано это изящное, легкое и полное опровержение его теорий. И «Ночей» кн. Одоевского совершенно не существовало в продаже, *не было и в библиотеках*, когда студенты и гимназисты зачитывались им и Д. С. Миллем, увлекались вообще утилитаризмом. И на почве же теории Бентама была построена вся «передовая» журналистика 60-х годов, с «Современником» и «Русским словом» во главе. Чернышевский все рекомендовал «умные иностранные книжки», не прочитав *сам* одной замечательно умной русской книжки, ознакомясь с которою, он сложил бы крылья и положил перо. Поистине, дивны судьбы книги в истории; но в русской словесности «судьбы книг» не дивны только, но потрясающи.

* * *

Пронеслись века в жизни унылых «бентамитов», все заковавших в броню «пользы», и вот выступает на место один другого — *классы*. «Первый приз» взяли биржевики, капиталисты, торговцы, фабриканты. Но слушайте Одоевского: «Пришли *ремесленники* и объявили: “Зачем нам этих людей, которые пользуются нашими трудами и, спокойно сидя в конторе и банке, наживаются? *Мы работаем в поте лица; мы знаем труд*; без нас они не могли бы существовать. *Мы* именно приносим

существенную пользу стране и *мы должны быть правителями*».

Социальный вопрос, «рабочий вопрос», когда Карамзин не кончил еще свою историю? Рабочий вопрос под пером князя-поэта, князя-многодума. На «Русские ночи» мы можем смотреть как *на общий*, еще до разделений, исток, откуда пошли все русские умственные течения. И эта книга была 50 лет под спудом, не читаема и очень мало известна!

«И все, в ком таилось хоть какое-либо *общее понятие о предметах* (т. е. образованные классы), были изгнаны; ремесленники сделались правителями, и правление обратилось в мастерскую». Да это — «пролетарии всех стран, объединяйтесь!..»

«Ремесленные произведения наполнили рынки; не было центров сбыта (в самом деле, кому же продавать сапоги, если каждый делает сапоги); пути сообщения пресекались от невежества правителей; искусство оборачивать капиталы утратилось; деньги сделались редкостью. Общие страдания умножились».

Наступил «рай» трудовой группы Первой Государственной Думы⁵. Но еще не пришли толстовцы-пахари. Оказывается, Одоевский и их предвидел:

«За ремесленниками пришли землепашцы. “Зачем, — кричали они, — нам этих людей, которые занимаются безделками — и, сидя под теплою кровлею, съедают хлеб, который мы вырабатываем в поте лица, ночью и днем, в холоде и зное? Что бы они стали делать, если бы мы не кормили их своими трудами? Мы одни приносим существенную пользу; мы знаем первые, необходимые нужды страны и *мы должны быть правителями*”. Так кричали они, — и все, кто только имел руку, непривычную к грубой земляной работе, — все были выгнаны вон из города».

Это «Крестьянский союз» Тана-Богораза, и «иллюминации из горящих помещичьих усадеб» Герценштейна⁶, и, наконец, это «сам Толстой», идущий за плугом... Все *предсказал* кн. Одоевский в сжатой мысли пушкинской эпохи — той мысли, которая не уснащала каждый свой тезис несколькими подстрочными цитатами из немецких ученых, которая не печатала томов и глав с делениями и подразделениями, — а умела говорить в «ночных беседах» нескольких друзей, в форме столь же простой и краткой, какою запечатлены все рассуждения Пушкина.

В Пушкине — разгадка кн. Одоевского. Это тот же язык, тот же строй мысли, то же соединение поэзии и «нужд сегодняшнего дня». «Русские ночи» — столь же поэзия и философия,

как и политическая экономия, как и трактаты о музыке, — в которой Одоевский был глубоким знатоком. В двух интереснейших отрывках, найденных С. А. Цветковым в Императорской публичной библиотеке и теперь впервые опубликованных («Предисловие» к предположенному, но не осуществленному кн. Одоевским «Полному собранию сочинений» своих и «Примечание к русским ночам»), содержится следующая заметка о Вагнере: «К числу доказательств гениальности Вагнера я причисляю падение его “Тангейзера” в Париже, где процветает “Плоермель” Мейербера⁷ и даже так называемые оперы Верди, которые в музыке занимают то же место, что в живописи картины, шитые шелком и мишурой». Таким образом, Одоевский был самым ранним у нас «вагнеристом», когда Вагнер осмеивался в самой Европе... Но это — частность, хотя и замечательная. Одоевский везде шел впереди своего времени, впереди на несколько десятилетий. И мы, которые, по непростительной засушенности нашего книжного рынка, не имели столько десятилетий его своим другом, с глубоким «прости нас» возьмем теперь его ведущую и благородную руку, столь твердую и братски нежную...

Ну, это «нежную» я перекидываю от сложения его рта, в котором, по Репину, «весь человек». Рот Чаадаева и рот кн. Одоевского — это целая опера Верди. Чаадаев только и умеет поучать, но это до того все «из книг» и из чужих напевов, что не хочется не только учиться, но даже слушать. Что, после *писем* Гильдебрандта, Григория Великого, после страниц бл. Августина, мог сказать нам маленький петербургский католик:

Скука, холод и гранит...⁸

Одоевский — просто *друг* нам и ничему не хочет учить. Оттого и форма его — не речь. «*Моя речь*», как у Чаадаева, и даже не статья или книга, а *диалог*: «беседа друзей ночью», где никто ничего не проповедует, не навязывает; а точно они берут из рук друг друга микроскоп и поочередно рассматривают под ним «мелочь жизни», в которой именно прилежанием внимания и зрения открывают миры...

Большие и нежные его губы, характерно изогнутые, выражают все лицо, весь дух его. В «русской портретной галерее» я не знаю лица, более исполненного мысли. Это — не «позитивная мысль», не «бревно» Спенсера, Бентама или Огюста Конта: это мысль каких-то утонченных цветов с чудным запахом, попадающихся в лесной глуши, где тень чередуется с солнцем, сырость со зноем, где все неопределенно и неожиданно, ново и

свежо... И как это прекрасно в его «Ночах», что собеседники то рассуждают, то просто *рассказывают*. И в книге столько же простой новеллы, сколько и философии.

Спасибо издателю (г. Цветкову), спасибо и книгоиздательству. «Варварство наше еще не окончательное», не вовсе затоптали нас Бокли и Спенсеры, — и Одоевский запестреет во всех больших и маленьких библиотеках. Он издан очень стильно, без замусоривающих «ученых примечаний», копировально с рукописи и с соблюдением шрифтов, бумаги и заглавного листа тех «времен Одоевского и Пушкина». Спасибо, — и будем читать.

